

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава десятая

“НЕ ПРОБИЛСЯ Я, А РАЗБИЛСЯ”

Осенью 1959 года то ли на берегу Ангары, то ли в котловане Братской ГЭС я познакомился с молодым поэтом Анатолием Передреевым, который и рассказал мне о Борисе Абрамовиче Слуцком. Передреев, оказывается, приехал в Братск по “направлению Слуцкого”. Слуцкий послал своей комиссарской волей молодого провинциального поэта, навестившего его в Москве, на стройку коммунизма – “делать биографию”, “изучать жизнь”...

Возвратившись из Сибири в Москву, я стал звонить нескольким поэтам, имена которых для меня что-то значили, – я искал поддержки на первых порах в новой, ещё не ведомой для меня литературной жизни.

Позвонил Василию Фёдорову: звонит, мол, молодой поэт, приехал из Сибири, хочу показать стихи... В ответ слышу: “Простите, молодой человек, сейчас нет времени, уезжаю на родину в Марьевку, позвоните месяца через два...”

Стою у телефонной будки на улице Горького, копаюсь в справочнике фамилий, звоню Льву Ивановичу Ошанину...

– Да, Станислав, да, понимаю, но я через неделю уезжаю в туристическую поездку в Венгрию с женой. Давайте встретимся через месяц...

Вспоминаю о телефоне Слуцкого... “Молодой поэт? Сколько вам? Двадцать шесть? Немало. Откуда? Из Сибири? Что? От Передреева? Ну, как он там? Стихи пишет? Встретиться со мной? Хорошо! Где вы находитесь? Центральный телеграф знаете? Через час под часами на Центральном телеграфе...”

Когда мы встретились возле телеграфа со Слуцким, ему было уже сорок лет. У него только что вышла в издательстве “Молодая гвардия” первая в его жизни книга стихотворений “Время”. У меня через несколько месяцев после нашей встречи вышел в родной Калуге тоже первый стихотворный сборник “Землепроходцы”. Так что хронологически мы оба были “шестидесятниками”, но я понял это лишь много лет спустя. А в ту первую встречу Слуцкий сразу же взял быка за рога. Тут же сводил меня в писательскую книжную лавку, где познакомил с Евгением Винокуровым, по дороге рассказав о литературной жизни в Москве, определяя, кто есть кто и кто чего стоит. Из лавки писателей мы в этот же день строевым шагом дошли до журнала “Знамя” в проезде Станиславского, где Борис Абрамович собрал нескольких сотрудников, – главреда

Продолжение, начало в № 11-12 за 2019 год и № 1-5, 7, 8 за 2020 год.

Кожевникова, его замов Сучкова, Скорина, — и твёрдым голосом, не допускающим возражений, приказал мне: “Читайте стихи!”

Тут же мы договорились, что в “Знамени” в очередном номере стихи будут напечатаны, и я выходил из редакции уже не провинциальным, а московским поэтом...

Слуцкий сразу взялся за моё образование и для начала стал таскать меня по мастерским “широко известных в узких кругах” скульпторов и художников. Сначала мы навестили модную в те времена мастерскую Силиса, Сидура и Лемпорта. Борис Абрамович, как опытный искусствовед, по-хозяйски водил меня по просторной подвальной мастерской где-то возле церкви Николая в Хамовниках, объяснял смысл скульптурного дела, поглаживал гипсовые и мраморные головы, остановился возле своей головы из серого гранита, лукаво поглядел на меня, пошевелил усами, довольный моим удивлением.

Потом мы были с ним где-то на Сретенке в мастерской ещё молодого тогда Эрнста Неизвестного, заставленной до предела головами, ногами, руками, туловищами... Всё это было крупным, грубым, гипертрофированным и не произвело на меня никакого художественного впечатления, но Слуцкий всё равно был доволен.

— Это, Станислав, новое искусство! Ему принадлежит будущее, хотя в творчестве Неизвестного слишком много литературщины!

Он вообще был в своих пристрастиях полным новатором, как любили говорить тогда, и модернистом. Всё, что было связано с традицией, не интересовало его и воспринималось им как искусство второго сорта. Высшим достижением Николая Заболоцкого Борис Абрамович считал его первую книгу “Столбцы” и весьма холодно отзывался о классическом позднем Заболоцком. Судя по всему, ему были чужды и Ахматова, и Твардовский, но зато он ценил лианозовского художника Оскара Рабина, певцов барачного быта стихотворцев Игоря Холина и Генриха Сапгира, ныне канувших в Лету, а из ровесников он почти молился (чего я никак не мог понять) на Николая Глазкова за то, что последний, по убеждению Слуцкого, был прямым продолжателем Велимира Хлебникова. При упоминании имен Давида Самойлова, Наума Коржавина, Александра Межирова Борис Абрамович скептически шевелил усами: они были для него чересчур традиционны.

— Надо летать на самолётах собственной конструкции, — диктаторским тоном поучал он.

В первые месяцы моего вхождения в московскую жизнь он успел ещё сводить меня в мастерскую художника Вайсберга, познакомить с Юрием Трифоновым, а в своей комнатухе на Юго-Западе однажды заставил читать мои весьма наивные и несовершенные стихи драматургу Александру Володину. Стихи были крайне натуралистические о том, как мои сверстники, оставшиеся в оккупации, в конце декабря 1941-го, когда немцы были выбиты из Калуги, подтаскивали трупы немецких солдат к колонке на нашей улице Циолковского, обливали водой, пока мёртвое окоченевшее тело не покрывалось толстой ледяной коркой, садились на него и со свистом летели вниз под горку мимо Дома-музея Циолковского чуть ли не до замёрзшей на жутких холодах той зимы Оки. Увы, я стал летописцем этого леденящего душу события:

*Немцы уходят из города,
стынет декабрьское солнце,
и вот уже звонко от холода,
и под гору мы несёмся
на санках, на самокатах,
а тот, кто из самых смелых, —
на немецких солдатах,
как дерево, обледенелых...*

Впечатлительный Александр Володин, не выдерживая моего чтения, закрывал уши ладонями и выскакивал на балкон, а Борис Слуцкий сидел, как “усатый нянь”, самодовольно улыбаясь и гордясь своим новым воспитанником.

Позднее я понял, что Слуцкий, очень ценивший своё время, был не просто филантропом, хотя он выручал меня, да и не только меня, деньгами,

делами, советами. За всё это он не грубо, но последовательно ждал послушания, групповой дисциплины, проведения в литературной жизни его линии — линии учителя. Он набирал учеников не от избытка чувств, а для дела... Противоречий и несогласий с собой не то чтобы не терпел, но не одобрял и сразу же отдалял от себя “инакомыслящих”. Но что привлекало в Слуцком? Его умение чётко сформулировать ответ на какую-то социально-политическую проблему. Он умел это делать быстрее и смелее других.

Все скульпторы и художники, с которыми меня познакомил Слуцкий, были закоренелыми либеральными “шестидесятниками”, “заточенными” на то, чтобы стать известными в Европе, а ещё лучше — в Америке. Некоторые из них — Гриша Брускин, Олег Целков, Илья Кабаков — добились своего на зависть коллегам, мечтавшим о таких же по советским меркам баснословных гонорарах и резонно возмущавшимся: “А чем же мы хуже?” Но этим бедолагам и пасынкам соцреализма оставалось только радоваться наездам к ним Бориса Слуцкого со своими учениками. А для подлинно медийного и денежного успеха нужно было поучаствовать в выставке, да не в какой-нибудь официальной, а обязательно нелегальной, но которая за день до её открытия становится известной и, когда её участники привозят свои холсты и скульптуры, тут же разгоняется милицией и лучше всего, чтобы с помощью бульдозеров и в присутствии толпы иностранных корреспондентов, а ещё лучше, если в каком-нибудь Манеже их работы обругает не какой-нибудь чиновник от культуры, а сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, как это случилось во время перепалки между Эрнстом Неизвестным и Хрущёвым, когда последний обозвал всех диссидентов “педерастами” и предложил им выехать из страны.

Конечно же, художники-“шестидесятники” мечтали о том, чтобы в их мастерские заходили жёны иностранных послов — итальянских, французских, германских, британских, — но, к их досаде, все тропинки, протоптанные каблучками этих леди, сходились, словно по щучьему велению, в одну-единственную московскую мастерскую — башню Ильи Глазунова. Как тут было удержаться и не объявить его русским шовинистом или тайным покровителем общества “Память”? Илья Глазунов вспоминает, как однажды Борис Слуцкий сказал ему: “Я знаю, что Вы уже нарисовали портрет Анатолия Рыбакова. Теперь Вы должны нарисовать жену самого богатого писателя Саши Галича, учитите только, что он, впрочем, как и я, — улыбнулся Слуцкий, — большой коммунист и у власти, в отличие от меня, в большом почёте. Мастерит даже, как я слышал, какой-то фильм о чекистах. Денег, повторяю, прорва — человек в зените” (“Борис Слуцкий: воспоминания современников”. С. 553). Вот каковы были наши знаменитые “шестидесятники”, “бессмертные и легендарные”, как писал о них Евгений Евтушенко. “К предательству таинственная страсть” посещала их всех.

Критик Бенедикт Сарнов в книге “Воспоминания о Борисе Слуцком” с негодованием рассказывает, как Слуцкий при нём предложил дать рекомендацию для вступления в Союз писателей молодому Андрею Вознесенскому: “Я охотно дам вам рекомендацию. — Нет, нет, спасибо, не надо, — неожиданно отреагировал Андрей. — — Две рекомендации от “своих” у меня уже есть, а третью я возьму у Грибачёва”.

Надо было знать Бориса, чтобы в полной мере ощутить, какой пощёчиной был для него этот ответ <...> и сама его готовность взять рекомендацию у одного из самых выдающихся тогдашних литературных негодяев...

Бедный Бенедикт Сарнов! Впоследствии он, как пишет сам, был ошарашен стихами Слуцкого о Сталине:

*Художники рисуют Ленина,
как раньше рисовали Сталина,
а Сталина теперь не велено:
на Сталина все беды свалены.*

*Их столько бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
Скорей — жестокое величество.*

Прочитав эти честные и по тем временам мужественные стихи Слуцкого, Сарнов впал в отчаянье: “*Меня особенно покорило слово “величество”. Не само слово даже, а интонация, с какой оно произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили*”...

А о стихотвореньи Межирова “Коммунисты, вперёд!” Слуцкий сказал: “*Сам-то он не коммунист, коммунист – я, в этом-то и наши разногласия*” (из воспоминаний Семёна Липкина)...

Вот в каких разногласиях творили свои судьбы “шестидесятники” той эпохи, когда слово “Сталин” служило водоразделом даже между либералами, казалось бы, одной национальности. Но за полвека с лишним столько воды утекло, что Новелла Матвеева, о которой один из несомненных вождей “шестидесятничества” Евгений Евтушенко в своей антологии “Строфы века” (1995) написал, что она, словно героиня Александра Грина, “*стала Ассолью, а свою поэзию превратила в корабль под алыми парусами*”, через несколько лет, незадолго до смерти, принесла в журнал “Наш современник” свой поэтический приговор всему “романтическому шестидесятничеству”:

*Клеймя “тирана” с трубкой и усами,
Вы первые тиранствуете сами;
На пробующих робко спорить с вами
Бросаетесь клокощущими псами!
Но... топая ногой, но лбом тараня,
Ассаргадонствуя и тамерланя,
Желяя подчинить себе Россию,
Не напроситесь на тиранию,
Вам встречную! Настроенную грозно!
Уймитесь же, эй, вы! — пока не поздно...*

* * *

Через несколько лет после нашего знакомства Борис Слуцкий, видимо, убедившись, что никакие соблазны “авангардного сюрреализма” не обворочили меня, что всё явственней мой путь поворачивается в сторону русской национальной традиции, что я всё больше времени провожу в кругу Вадима Кожинова, Петра Палиевского, Николая Рубцова, Анатолия Передреева и других “почвенников”, перестал поучать и воспитывать нерадивого ученика, что явственным образом отразилось в дарственных надписях на его книгах, которые он дарил мне в течение 15 лет. В 1959 году на книге “Время” он просто расписался: “**Б. Слуцкий**”. Через год на книге “Память” начертал, используя пушкинскую строчку, целую программу жизни: “**Станиславу Куняеву – в надежде славы и добра от него и для... и для нашей поэзии, 17.XII.1960**”. В одной из следующих книг добавил в эту дарственную надпись весьма важное слово: “**Станиславу Куняеву в нетерпеливой надежде славы и добра**”. Мало того, на книге “Годовая стрелка” (1971) Слуцкий перевёл меня (вместе с женой) из своих учеников в друзья: “**Гале и Стасику в знак старинной дружбы. Борис Слуцкий**”. Но когда выяснилось, что я не полностью оправдал его надежды, он великодушно предоставил мне свободу выбора, написав на книге “Доброта дня” (1973) полушутливо-полусерьёзно: “**Поэту Куняеву отпускная (согласно прошению), Борис Слуцкий**”.

... С тех пор прошла целая жизнь. И недавно, выходя из нашего писательского дома на Красноармейской улице Москвы, я увидел на приступочке стопку книг, которую за ненадобностью выложил перед выходной уличной дверью кто-то из жильцов, у которого рука не поднялась отнести книги на помойку... Я из печального любопытства стал перебирать стопку, и вдруг одна из книг словно бы обожгла мою руку: это была книга Бориса Слуцкого “Работа” (М.: Советский писатель, 1964). У меня такой книги не было. Мелькнула мысль: “Возьму сборник себе!” Но, отогнув обложку, я прочёл: “**Юре Рюрикову в надежде славы и добра (без боязни), Борис Слуцкий**”. Я понял, что родные покойного журналиста Рюрикова, который жил в одном подъезде со мной, вынесли эту стопку книг с надеждой, что последние ценители литературы в нашем писательском кооперативе не пройдут мимо. То, что Борис

Абрамович сделал на сборнике такую же дарственную надпись, что и на книге, подаренной мне, меня не расстроило. Но меня ошеломило то, что на моих глазах разрушалась вера Слуцкого в силу поэтического слова, вера, о которой он писал в 50-е годы:

*Покуда над стихами плачут
и то возносят, то поносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят,
до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело,
оно, как Польша не сгинела,
хоть выдержало три раздела.*

Помню, как мы вместе с Кожинным и Передреевым восхищались этими стихами, этой силой слова, которое в тот чёрный день лежало на ступеньках передо мной, обездушенное и обесчещенное... Как тут не позавидовать Борису Абрамовичу, избегнувшему унижения лицезреть заветную книгу своих стихотворений на грязном полу возле уличной двери дома, где до сих пор живут состарившиеся, как и я, писатели или их вдовы, или их дети.

Но справедливости ради надо признаться, что я, поверивший, будто хорошо знаю Слуцкого, во многом ошибался. Да, Слуцкий действительно был для меня советским поэтом, писавшим стихи о нашей трудной победе в кровопролитной войне, поэтом, воспевавшим вчерашних солдат, одолевших засуху сорок шестого года, поэтом, преклонявшимся перед вдовами, танцующими в деревенском клубе со своими подругами, потому что их мужья не вернулись с войны. Он умел даже в стихах об общественной бане, узрев, сколько ран и шрамов нанесено войною на тела обнажённых русских мужиков, воздать должное их судьбам. Но полностью узнать глубину его судьбы и его понимания жизни мне пришлось, к сожалению, лишь после смерти поэта — в годы перестройки, когда были опубликованы многие его стихи, к которым советская цензура была беспощадна, когда вышла книга воспоминаний о нём и о его родословной, когда книга с заголовком “Борис Слуцкий” была издана в серии ЖЗЛ. Но самая важная книга, вышедшая после смерти поэта, была названа строчкой из его стихотворения “Теперь Освенцим часто снится мне”. Без неё понять духовные и душевные метания Слуцкого невозможно... Лишь после этих изданий русско-еврейский узел, всю жизнь болезненно и скрытно волновавший поэта, стал доступен для понимания историков, литературоведов, да и просто читателей. А начинал завязываться этот узел для Слуцкого ещё в его детские годы.

Есть у этого сурового реалиста и честного историка стихотворение, чрезвычайно важное для него, которое я назвал бы гимном “уравниловке”:

*Я родился ладным и стройным,
с голубым огнём из-под век,
но железной десницей тронул
мои плечи двадцатый век.
Он одел меня в парусиновое,
в ватно-стёганое одел,
лампой слабою, керосиновой
осветил, озарил мой удел.
Если я из ватника вырос
и надел костюм выходной,
значит, общий уровень вырос
приблизительно вместе со мной.
Вот иду я, двадцатилетний,
средний, может быть, ниже средний
по своей, так сказать, красе.
Кто тут крайний? Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все...*

Однако статья “как все” в неизбежной советской уравниловке 20–30-х годов юноше из местечкового еврейства было не так-то просто. Ольга Слуцкая – племянница поэта, дочь его брата Ефима – так вспоминает о жизни семейства Слуцких в украинском Славянске, за чертой оседлости: “Родители говорили на идише, отмечали еврейские праздники и тайно обучали своих мальчиков ивриту, – видимо, собирались уехать в Палестину. Братья деда перебрались туда ещё в 1919-м или 1920 году” (И. Фаликов. “Борис Слуцкий”. М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, 2019. С. 24)

Сложность жизни местечкового народа в 20-х годах прошлого века заключалась в том, что он разделился на два потока: один хлынул в национал-сионистскую революцию (Жаботинский, Вейцман, Бен Гурион, Менахем Бегин, Шимон Перес, Голда Меир и т. д.), другой, взломав черту оседлости, ушёл в Великую Октябрьскую (Троцкий, Урицкий, Юровский, Голощёкин, Ягода, Розалия Землячка и т. д.) Разделилось, влившись в эти потоки, и семейство Слуцких, о чём биограф поэта пишет в ЖЗЛовской книге с точностью историка и пониманием соплеменника: “Может быть, лучшим поступком Абрама Наумовича Слуцкого, отца поэта, было его решение о неотъезде в Палестину, куда уехали его родственники, в том числе его брат Хаим (1920). Русская лирика получила Бориса Слуцкого, израильская безопасность – Меира Амита (родившегося в 1921 году кузена Бориса), начальница военной разведки “Аман” и директора внешней разведки “Моссад”, а до того доблестного воина на полях сражений Израиля за независимость”, “Еврей, рождённый в Славянске, родился поэтом, поэтом русским. Няня Аня прибилась к Слуцким ещё в Славянске. Слуцкий никогда не говорил об этом городе, не упоминал его в стихах, а мог бы. Не хотел”, – пишет Илья Фаликов. Но иметь няню – означало жить уже в детстве иной, привилегированной жизнью, “не как все”. Да и “родиться поэтом, поэтом русским” в семье, говорящей на идише, тоже было неким исключением, а не правилом. И не случайно Слуцкий никогда не вспоминал о жизни в Славянске и “не упомянул его в стихах”, наверное, потому, что понимал: “уравниловкой” такие повороты в судьбе не объяснишь. Да и сам автор книги о Слуцком понимает, что переезд семьи Слуцких из Славянска в Харьков был событием по тем временам необычным и чрезвычайным, открывшим широкие перспективы для юноши из иудейской местечковой среды: **“Причина переезда Слуцких в Харьков нам не известна. Можно предположить, что у отца семейства не складывались в этом курортном городишке, истерзанном бандами, его торговые дела. Появление ребёнка требовало более цивилизованного места обитания”... А это уже не “как все”**. Точно так же о своей местечковой родословной не хотели вспоминать ни Межиров (о Чернигове), ни Самойлов (о Варшаве), поскольку все они мечтали, чтобы столичное общество признало их “русскими поэтами” с чистого листа. Когда же молодой Слуцкий в элегантном костюме, в отглаженной рубашке с галстуком (отнюдь не в “парусиновом” и “ватно-стёганом”) приехал из Харькова в Москву в зловещем 1937-м, чтобы сразу беспрепятственно (неповское происхождение!) поступить в два знаменитых вуза – в Московский юридический и в ИФЛИ, – то, по словам его биографа, он **“писал беспрерывно, и это было связано с любовью к Вике Левитиной, сокурснице-юристке. Ей он показывал плоды своих вдохновений, из которых она узнавала о яростной преданности революции, о беспощадности к врагам, о хождении по лезвию в чекистской тематике, о подавленной еврейской ноте, о жажде славы, наконец”**. Ну, как тут не вспомнить Эдуарда Багрицкого с его **“яростной преданностью революции” (“о, мать-революция, нелегка // трёхгранная откровенность штыка”)**, с его **“хождением по лезвию в чекистской тематике”** (разговор Багрицкого с Дзержинским в стихотворении “ТБЦ”), с бунтом Багрицкого против местечкового быта, который загоняет в душевные глубины поэта все комплексы “блудного сына”:

*Еврейские павлины на обивке,
Еврейские кисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне: — Подлец! Подлец!*

.....
Проклятье и презрень! Уходи!

*Я покидаю старую кровать:
— Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!*

Когда Багрицкий писал в 1930 году эти отступнические строки, Слуцкому было лишь 10 лет. Но он, поступивший в 1937 году в ИФЛИ, в отличие от Багрицкого, страдавшего от одиночества, погрузился в атмосферу, которая помогла Солженицыну, поступившему в то же самое легендарное заведение, назвать первую свою книгу с большевистской прямоотой: “Люби революцию!” А находящийся в Мексике Лев Троцкий в эти же годы заканчивал свою последнюю “антисталинскую” книгу “Преданная революция”...

* * *

В ИФЛИ перед войной учился своеобразный отряд высокоодарённой поэтической молодёжи, воспитанной на стихах крупнейших поэтов-романтиков предшествующего поколения, — Антокольского, Багрицкого, Сельвинского, Луговского, Светлова. Условно я их называю “ифлийцы”. (Для меня это понятие не формальное, определяющее принадлежность к ИФЛИ большинства из них, а содержательное, в него я вкладываю весь клубок идей, связанных с романтическим представлением об истории, о мировой революции, о Второй мировой войне. Ифлийцы стремились продолжить традиции учителей и, в сущности, ещё задолго до начала войны стали писать о ней, пытаясь угадать, какой она будет, и справедливо видя в этих догадках своё предназначение. Все они готовились к Мировой Революции. Через несколько лет после окончания войны Борис Слуцкий, вспоминая о ближайшем из своих друзей Михаиле Кульчицком, напишет о его судьбе так:

*Я не жалею, что его убили,
жалею, что убили рано,
не в третьей мировой, а во второй;
рождённый пасть на скалы океана,
он погребён континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.*

Стоит поразмышлять, почему поэту жаль, что его герой пал во Второй мировой войне, в той её славной части, которая у нас называется Отечественной? Да, видимо, потому, что герой, выросший и воспитанный в 20–30-е годы с их лозунгами Всемирной Революции и глобальной схватки миров, готовился к бóльшему: к последнему и решительному бою, который назван поэтом “третьей мировой”. А этого боя не получилось. Получилась Отечественная война. Потому с такой разочарованностью звучит противопоставление мечты и действительности — “рождённый пасть”, — а в итоге всего лишь “хмуро”, то есть почти недовольный судьбой, “спит”, да в какой-то провинциальной “глуши степной”, засыпанный вроде бы и родной землёй, но поэт называет её всего лишь “континентальной пылью”. А ведь был рождён, чтобы пасть “на скалы океана”!

“Да, не удалась жизнь!” — только так можно прочесть это стихотворение. Не оправдала история надежд безымянного поэта, в которых угадывается не чья-то конкретная, но судьба целого поколения интеллигентов-романтиков.

*Нет, наступали сроки,
готовились бои,
готовились в пророки
товарищи мои.*

Готовились в пророки, готовились к последнему и решительному, после которого наступит Царство Справедливости, а жизнь охладил вдохновенные головы и заставила воевать в тяжёлой, некрасивой, неромантической Отечественной войне, в которой “не до жиру — быть бы живу”, не до славы, — “смертный бой не ради славы — ради жизни на земле...”.

“Пророк” и поэт из поколения Слуцкого Арон Копштейн пошёл добровольцем на “незнаменитую” финскую войну, доказывая искренность “ифлийства”:

*Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну.*

Он был убит на этой войне, но перед смертью успел написать своё кредо:

*И если я домой вернусь целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько выплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.*
1940

“На фронт любой” означало куда угодно — в Испанию, в Финляндию, в Абиссинию, потому что любое пламя войны в любом регионе в те времена казалось романтикам отсветом пожара мировой революции, которую они призывали:

*Наперевес с железом сизым
И я на проволоку пойду,
И коммунизм опять так близок,
Как в девятнадцатом году.*

Но в 1919-м у нас был военный коммунизм, после которого, спасая свою власть, страну и народ, большевики ухватились, как за соломинку, — за нэп, при котором выжил еврейский ребёнок Борис Слуцкий.

* * *

В далёком уже 1987 году я опубликовал в журнале “Молодая гвардия” статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где, отдавая дань их талантливости, их гражданскому и человеческому мужеству (“отряд высокоодарённой поэтической молодёжи”, “бескомпромиссный талант”, “абсолютная искренность поколения”, “романтическое бесстрашие”, “жертвенность” — характеристики из моей статьи), тем не менее, спорил с романтизацией войны, оспаривал книжные романтические схемы “земшарной республики Советов” и абстрактно понятого интернационализма, ярче всего, пожалуй, выраженного в формуле М. Кульчицкого: “Только советская нация будет // и только советской расы люди”. Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:

*Но мы ещё дойдём до Ганга,
но мы ещё умрём в боях,
чтоб от Японии до Англии
сияла Родина моя*
(П. Коган).

Я — романтик разнаипоследнейших атак...
(М. Кульчицкий).

*Выхожу, двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный и последний,
и предсказанный песней бой*
(Б. Слуцкий).

Я понимал, что эта песня есть “Интернационал”, сущность которого выдохлась с первого же дня Великой Отечественной. Я доказывал, что именно

такие романтические “заблуждения”, унаследованные “ифлийцами” от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять сущность начавшейся войны как Отечественной, “народной”, “священной”.

После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан “артиллерийский залп”. Меня заклеямили О. Кучкина в “Комсомольской правде”, Е. Евтушенко в “Советской культуре”, А. Турков в “Юности”, Ю. Друнина и Л. Лазарев-Шиндель в “Знамени”. Следом подали свои голоса “Книжное обозрение”, “Огонёк”, “Литературная Россия”.

Каковы же были главные аргументы моих критиков? Прежде всего, в ход шло простое житейское правило, действующее на читателя: люди погибли на войне, и потому их творчество не подлежит обсуждению: “Если он способен поднять руку на павших” (Л. Лазарев), “клевета на честных писателей, павших на Великой Отечественной войне и не имеющих возможности защититься” (“Книжное обозрение”). Но житейская мудрость “о мертвых или хорошо, или ничего” годится только на гражданских панихидах, тем более что я не говорил ничего о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и ещё бушуют вокруг имён Достоевского, Маяковского, Есенина...

Я писал о том, что в стихах Кульчицкого “Не до ордена – была бы родина с ежедневными Бородино” меня коробит слово “ежедневными”: как-то не укладывалась в моём уме эта лихость... Ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: “Для того чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведёт речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их “ифлийцами”, всё время говорит об “ифлийском братстве”, “ифлийской молодёжи”, “ифлийцах старшего поколения”, даже об “ифлийстве” как о некоем идейно-художественном направлении”...

Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлияка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье “Старинная удача”, опубликованной в “Новом мире” (№ 11 за 1988 год):

“Что такое ИФЛИ? Произнесённая вслух, одна лишь аббревиатура сигнализирует, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они оттуда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: “Иллюзия – один из самых важных фактов бытия”.

Мне кажется, ИФЛИ – это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И ещё: ИФЛИ – это дух времени, само протекание которого было историей”.

По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели моё осторожное толкование.

За истекшие годы сущность ИФЛИ настолько раскодирована и разгадана, что всё тайное, на что намекала Ржевская “посвящённым”, давно уже стало явным.

Из воспоминаний Д. Самойлова 1980-х годов:

“ИФЛИ был задуман как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения”.

И совершенно открыто, безо всяких намёков об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала “Знамя” за 2006 год закадычный друг Давида Самойлова Борис Грибанов писал:

“Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что, когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд. Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским лицеем. <...> Была в ИФЛИ ещё одна отличительная черта – обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководителей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров”.

Об этом же рассказала ещё одна ифлийка, которую я знал по писательской жизни 1960–1970-х годов, — Раиса Либерзон-Орлова, чьим последним мужем был публицист Лев Копелев. Их обоих уже нет на этом свете. Пламенные ифлийские революционеры 30-х годов, ставшие эмигрантами в 80-х, они нашли успокоение в немецкой земле. Но их книги, вышедшие в России, проясняют многое из жизни “ифлийства”: *“В ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов — Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Муза Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Агнесса Кун, Олег Трояновский. Для сегодняшних читателей скажу без подробностей, что это были дети высших деятелей Коминтерна, наркомов, дипломатов”*.

“У нас, — вспоминает Раиса Орлова-Либерзон, — царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение “свой”. Сближались мгновенно, связи тянулись долго”...

“Необъяснимо, чем влекли слова “флибустьеры”, “весёлый Роджерс”, “люди Флинта”. Они переключались с Гумилёвым, Грином, Киплингом, но всё это про нас”.

Поразительно, что ифлийцы жили Киплингом и Грином, но не вспоминали ни о Шолохове, ни о Есенине, ни о Булгакове, ни о Платонове. Словно инопланетяне. Даже Блок и Ахматова, даже Клюев с Мандельштамом не интересовали их. И, конечно же, харьковский провинциал Борис Слуцкий, попав в такое окружение “пламенных революционеров и революционерок”, всю последующую жизнь оставался поэтом, носившим в себе “вирус” ифлийства. Более того, даже после мая 1945-го, когда казалось бы, эти убеждения должны были окончательно износиться, Слуцкий — политрук, военный прокурор, политик, — насаждая в Венгрии социалистические порядки, верил, что тем самым продолжает в Венгрии мировую революцию 1919 года:

*Тесня к стене Больших Бульваров публику
Колонной — от угла и до угла, —
Венгерская Советская Республика
Убитая — нет, выжившая! — шла.*

*О Запад девятнадцатого года,
Всемирного пожара головня!
Я вижу сбережённую народом
Живую искру нашего огня.*

*Гори же вновь! Пожаром пламеней —
Сегодня подходящая погода:
Партийцы девятнадцатого года
Опять идут по Венгрии своей.*

И эта пламенная тирада пропета о Венгрии, чьи сыновья, одетые в форму вермахта, в наших оккупированных сёлах и городах считались самыми жестокими из сателлитов Гитлера! Мадыары, которых в советском плену было более полумиллиона, которые, вернувшись из плена на родину, ещё раз в 1956 году залили потоками крови свой Будапешт не хуже, чем в девятнадцатом году при белакунговской революции. О том, что подвигло их в 1956 году вешать на липах венгерских евреев, Борис Слуцкий не сказал ни слова.

Но надо сказать, что сталинское государство во время войны высоко ценило усилия и преданность Слуцкого делу социализма, особенно в тот период, когда наши войска перешли советскую границу и вступили на землю так называемых сателлитов гитлеровской Германии. Вот как рассказывал сам Борис Абрамович о своей жизни работника политотдела 57-й армии, юриста, следователя, военного прокурора и высокопоставленного идеолога в последние месяцы войны: *“Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о Юго-Западной Венгрии. Писал текст первой политической шифровки о политическом положении в Белграде”... В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое демократическое правительство в Ситирии (Южная Австрия)”*.

Подумать только, какими полномочиями обладал он, когда-то написавший: “Я желаю стоять, как все”, — а теперь принимавший решения, от которых зависели судьбы целых государств и правительств!

“Всем лозунгам я верил до конца”... Конечно же, Слуцкий был последовательным сыном своей эпохи. Вот как он описывает утверждение социализма в странах Восточной Европы:

*Я помню осень на Балканах,
когда рассерженный народ
валил в канавы, словно пьяных,
весь мраморно-гранитный сброд;
своих фельдмаршалов надменных,
своих бездарных королей,
жестокых и высокомерных
хотел он свергнуть поскорей...*

Не знаю, не знаю... Я бывал в этих странах в 60-е и 70-е годы и видел, как стоят там в неприкосновенности памятники польским королям и Пилсудскому, генералу Скобелеву и всем династиям венгерских королей и полководцев, чешским монархам и деятелям католической церкви в той же Речи Посполитой... А о Югославии с её патриотизмом и говорить нечего. Видимо, поэту очень хотелось, чтобы революции в славянских странах проходили по той же схеме, что и в России... “До основанья...” Эта его мечта вступала в полное противоречие с действительностью, с тем, как и по чьей воле насаждался социализм в Югославии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Так что здесь правы или Слуцкий со Сталиным, или кардинал Мидсенти с Лехом Валенсой. Однако таких стихотворений не просто об освобождении от фашизма, а одновременно с этим о социалистических “народных” революциях в Восточной Европе у Слуцкого более чем достаточно. Их искусственный пафос был для поэта продолжением пафоса “мировой революции”: “всем лозунгам я верил до конца”, — это не были пустые слова. Скорее всего, поэт выполнял эту историческую работу, считал, что она есть своеобразное продолжение (или завершение) “мировой революции”, победившей коричневую контрреволюцию “тысячелетнего рейха”. Нелегко в это поверить, но один из самых трезвых фронтовиков-“шестидесятников” Борис Слуцкий так вспоминал в стихотворении “Встреча” о застолье советских офицеров с офицерами армии союзников на берегу Эльбы в мае 1945 года:

*Покамест полковники водку пьют,
Покамест смакуют виски,
Доколе пехотные песни поют
По-русски и по-английски —*

*Мы ищем друг друга глазами. Но
Взгляд отвечал взглядом.
Вторая в моём поколеньи война
Садится со мною рядом...*

*Не пьём. Не поём. Но молчим и молчим,
И ставим на памяти метку.
Разведка, наткнувшаяся на разведку,
Мечи, застучавшие о мечи...*

*Сегодня подписана и утверждена —
Сегодня! Девятого мая! —
Вторая в моём поколеньи война —
Третья мировая.*

Слуцкий держался за эту иллюзию “Третьей мировой”, как говорится, “до последнего патрона”. Её разрушение не могло не наложить печать на его душевное состояние, как и несколько других, не менее роковых причин.

* * *

Русско-еврейский вопрос, в первую половину жизни Слуцкого для него не существовавший, с годами мучил поэта всё больше и больше. Всё чаще его интернационализм ощущал свою непрочность перед натиском возрождавшегося в обществе национального еврейского чувства. Появляются стихи...

*Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.*

*Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я всё-таки в сердце храню.*

Почти русофильские стихи, но с одной очень существенной оговоркой, о которую всегда цеплялось моё чувство при чтении этого стихотворения. “Не курский, не псковский, не тульский” — поэт ещё не решается сказать “не русский”, потому что последняя линия обороны — язык, культура, поэзия — это за ним. Не в происхождении, которое он игнорирует, а в любви к русской литературе он видит свою “русскость”. Так-то оно так. Но кроме русской литературы, есть ещё русская история, и сегодняшний пересмотр её самого страшного периода — 20–30-х годов, когда произошёл геноцид русского народа, — делает весьма уязвимой жестокую формулу Слуцкого: “Я все лагеря и погромы // за эти романы прощу”. Поскольку мы сейчас знаем, кто строил лагеря и кто руководил ими, знаем фамилии верховных теоретиков и практиков ГУЛага, основателей системы ОГПУ–НКВД, и знаем то, что погромов на “курской”, псковской и “тульской” земле не было, что крупнейшие погромы были в Белостоке, населённом поляками, в Кишинёве, населённом молдаванами, на Львовщине, населённой бандеровцами. А кто кому должен прощать “лагеря” — тоже вопрос непростой...

В своём эпохальном труде “Двести лет вместе” Александр Солженицын, вспоминая о том, что 5 августа 1933 года в газете “Известия” был опубликован указ о награждении в связи с завершением строительства Беломорканала высших руководителей стройки — Г. Ягоды, М. Бермана, С. Фирина, Л. Когана, Я. Раппопорта, Н. Френкеля — орденами Ленина, писал: “Все их портреты крупно повторены были в торжественно-позорной книге “Беломорканал”, формата, как церковное Евангелие <...> И 40 лет спустя я повторил эти шесть портретов в “Архипелаге...” — с их же выставки взял, и не выборочно, а всех управителей, кто был помещён. Боже — какой всемирный гнев поднялся: как я смел?! Это антисемитизм! Я — клеймённый и пропащий антисемит. <...> А где же были их глаза в 1933-м, когда это впервые печаталось?”

* * *

Помню, как летом 1960 года я приехал к Слуцкому на Балтийскую улицу, где он жил в плохонькой двухкомнатной квартире с женой Татьяной Дашковской, чтобы взять для журнала “Знамя” его стихи. Он посадил меня за письменный стол, вытащил из ящика кипу стихотворений и, сказав: “Выбирайте любые!” — закрыл за собой дверь... Первое стихотворенье в этой стопке со строкой “евреи люди лихие” ошеломило меня. Я запомнил его наизусть с того дня, проведённого в квартире Слуцкого:

*Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие;*

*Иван воюет в окопе,
Абрам ворует в рабкоопе.
Я всё это слышал с детства
и скоро совсем постарею,
но мне никуда не деться
от крика: “Евреи! евреи!”
Не воровавший ни разу,
не торговавший ни разу,
ношу в себе, словно заразу,
эту проклятую расу.
Пуля меня миновала,
чтоб говорилось не лживо:
“Евреев не убивало —
Все воротились живы!”*

Но всю сложность, глубину и противоречивость этих стихов я понял только в нынешней старости.

Борис Слуцкий — честный поэт, находившийся в эпицентре всех социальных и национальных веяний — русских, советских, еврейских, — попытался в этом стихотворении внятно выразить всю сложность еврейской судьбы. Он бесстрашно принимает (или, по крайней мере, не отвергает) упреки мировой и русской истории, когда перечисляет пороки еврейства: “они солдаты плохие”, “люди лихие”, “Абрам торгует в рабкоопе”, “евреев не убивало — все воротились живы”... Это почти набор антисемитских обвинений — анекдотов, наветов, слухов, сплетен... Но честный поэт Слуцкий не возмущается, не кричит в истерике: “антисемитизм!”, “черносотенство!” — он со спокойной усталостью как бы соглашается, что нет дыма без огня, что в этих антисемитских упреках есть некая страшная и трагичная для евреев и для него правда: **“Но мне никуда не деться // от крика: “Евреи! евреи!”** Он почти соглашается с тем, что есть для этого тотального осуждения причина, поскольку очень уж не похожи евреи на все другие ветви человечества. “Ношу в себе, словно заразу, // эту проклятую расу”, — с мужеством отчаяния признаёт он, что раса — “особая”, но одновременно поэт понимает, что мир несправедлив, обвивая поголовно в “особом расизме” всех евреев.

Вот он сам. Его душа, распахнутая в стихах. Его судьба, непохожая на судьбу “Абрама”, торгующего во время войны в рабкоопе; непохожая на судьбу евреев, укрывшихся в тылу, на судьбу евреев, которые и “люди лихие”, и “солдаты плохие”, не похожа на судьбу чуть ли не всей “особой расы”. “Не воровавший ни разу, // не торговавший ни разу”, — но почему мир не хочет видеть этой его единоличной искупительной честности, его офицерской мужественности, его, в конце концов, советского патриотизма? А сколько горестной иронии в последних строчках: “Пуля меня миновала” — для чего? — для дальнейшей жизни после войны?! Да нет, всё гораздо страшнее! Для того, чтобы “навет” на еврейство был абсолютным, безо всякого исключения:

*Чтоб говорилось не лживо:
“Евреев не убивало —
все воротились живы!”*

Даже его личная удача — остался жив — ложится на антисемитские веса истории, потому что мир убеждён в порочности “особой расы”, “избранного народа”. А это уже разговор с судьбой, вымаливание милости у немилосердного, страшного и карающего Бога евреев Яхве. Моление, похожее на моление Авраама о том, чтобы ревнивый Бог Израиля простил утонувшие в грехах и непослушании ветхозаветные города Содом и Гоморру, поскольку в них всё-таки есть среди тысяч, достойных только “заклятия”, несколько праведников. “И подошёл Авраам и сказал: может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нём? Не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым... Судия всей земли поступит ли неправосудно?” (Бытие, 18; 25).

Поэт возвращает нас к спору, длящемуся сорок веков, начало которому было положено в лукавом и трогательном молении Авраама, чтобы грозный Яхве помиловало ради горстки праведников целый город грешников.

Свято место пусто не бывает. И недаром Борис Слуцкий, выросший в эпоху воинствующего атеизма, вспомнив отринутую историей ветхозаветного Бога, поставил на его место другой, более понятный образ:

*Мы все ходили под Богом.
У Бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
его иногда видали
живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого
по имени Иегова,
которого он низринул.
Извёл, пережѐг на уголь*,
а после из бездны вынул
и дал ему стол и угол.*

Этому земному Богу Слуцкого свойственны и “всевидящее око”, и “всепроницающий взгляд” — всё забытое, ветхозаветное и вдруг всплывшее из доисторической вавилонской бездны.

Интересно, что Сталин в стихах русских поэтов той же эпохи (Исаковский, Твардовский и др.) изображён как понятный людям земной человек, как суровый, но справедливый отец, как народная надежда, в крайнем случае, как полководец и вождь, и даже злодей или диктатор. Но никогда — как Бог. Такое случалось лишь с поэтами, вышедшими из “хаоса иудейского”, из еврейской среды, сохранившей в своей генетической памяти все ветхозаветные мифы об отношениях их предков с грозным племенным божеством Яхве.

* * *

Страстное желание Слуцкого “стоять, как все” в эпоху уравниловки было тесно увязано с не менее страстным желанием быть “русско-советским” поэтом. Эта раздвоенность в эпоху “оттепели” вызывала недоумение и у “левых”, и у “правых”, и у русских, и у евреев. Вспоминается злая, но точная эпиграмма не какого-нибудь “руссофила”, а поэта-авангардиста Всеволода Некрасова: **“Ты еврейский или русский? — Я еврейский русский. — Ты советский или Слуцкий? — Я советский Слуцкий...”** Начало 60-х годов.

Но вспоминается и такая сцена. На свадьбе у Игоря Шкляревского собрались мы все: Слуцкий, Межиров, Кожин, я и многие другие литераторы — и русские, и евреи. Вадим Кожин, немного захмелевший, произнося тост, забыв о женихе с невестой, ни с того ни с сего вдруг выпалил:

— *А вот до революции у евреев, живших в Белоруссии и на Украине, была своя национальная культура, весьма значительная...*

Слуцкий вспыхнул, усы у него задёргались, и, перебивая Кожина, он заявил:

— *Ну, обратно в гетто вы нас не загоните!* — Сказал с убеждённостью человека, решившего для себя русско-еврейский вопрос окончательно.

Я помню, как в начале шестидесятых годов в одном из провинциальных городков, в доме, где собралась еврейская либеральная интеллигенция, меня, приехавшего из столицы, попросили прочитать что-нибудь столичное, запрещённое, сенсационное. Я прочитал стихотворение об “особой расе”. Помню, как слушатели втянули головы в плечи, как наступила в комнате недоумённая тишина, словно бы я совершил какой-то неприличный поступок.

— Это же Слуцкий! — недоумевая и озираясь вокруг, сказал я. Ответом было молчание. Такой Слуцкий, нарушивший в то время своей уже не комиссарской, а пророческой ветхозаветной смелостью (было в нём нечто от ассимилированного древнего пророка и богоборца одновременно) табу и запреты на рискованную тему, был этой местечково-советской интеллигенции неприятен, даже опасен.

В книге **“Теперь Освенцим часто снится мне”** среди глубоко личных стихотворений о своём еврействе в знаменитом стихотворении Слуцкого “Про

евреев” одно слово заменено другим, но таким, что я глазам своим не поверил: неужели сам Слуцкий исправил строку “ношу в себе, как заразу, // эту особую расу” (вариант 1960 года) на ошеломившее меня: “ношу в себе, как заразу, // эту проклятую расу”? Неужели сам Слуцкий совершил это? Но почему? Постепенно осмыслив случившееся, я пришёл к следующему выводу: Слуцкому было мало осознать себя советским поэтом. Ему мало было убедить себя в том, что он способен слиться в эпоху уравниловки с простонародьем, “стоять, как все”, одеться в “ватно-стёганое”, принять как должное жизнь в “очередях” – в широком смысле слова... Всего этого ему как поэту было мало. Но для того, чтобы воздействовать на русского читателя, чтобы органически вписаться в русское лоно, чтобы совершить немыслимое – почувствовать себя душой русским – неужели ради этого он решился стать своеобразным выкрестом?

Но из стихов, опубликованных в книге “Теперь Освенцим часто снится мне”, составленных близким другом Слуцкого с довоенных времён Петром Герелиром, видно, как мучительно переходит поэт из мира, говорящего на идише, в стихию не просто русского языка, а русских чувств, и каких усилий стоило ему почувствовать себя русским поэтом... И тем не менее, Слуцкий пошёл дальше “русскоязычия”, решившись на отчаянную попытку раствориться в мире русской душевной жизни... И вот что из этого вышло:

*Я не могу доверять переводу
своих стихов жестокою свободу,
и потому пойду в огонь и воду,
но стану ведом русскому народу.*

Александр Межиров попытался пробраться к русской душе через привязанность к няне – “Родина, моя Россия, // няня, Дуня, Евдокия” – и через познание русской поэзии: “Был русским плоть от плоти, по жизни, по словам, когда стихи прочтёшь – понятней станет вам”. Слуцкий же приказывал себе быть русским во что бы то ни стало, несмотря на местечковость, господствовавшую в его харьковской семье:

*Я инородец, я не иноверец,
не старожил? Ну что же — новосёл.
Я, как из веры переходят в ересь,
отчаянно в Россию перешёл.*

Однако веру сменить легче, нежели душу, и Слуцкий, чувствуя это, хватается за все обстоятельства, способствующие его “обрусению”:

У меня ещё дед был учителем русского языка!
.....
*Родословие — не простые слова.
Но вопросов о происхождении я не объеду.
От Толстого происхожу, ото Льва,
Через деда...*

Но мало того: он, чтобы “перейти в Россию”, чтобы стать русским поэтом, посягнул на самое святое, чем жила веками вся еврейская местечковая диаспора, – на культ крови, который был священен для евреев со времён вавилонского пленения:

*...стихи, что с детства я на память знаю,
важней крови, той, что во мне течёт.*

Слуцкий не был первым из литературной среды в осмыслении “голоса крови”. В книге “Свет двуединый”, изданной в России в 1996 году с подзаголовком “Евреи и Россия в современной поэзии” поэт и переводчик Аркадий Штейнберг с неменьшим бесстрашием вглядывался во тьму времён:

*Не кровь отцов, не желчь безвестных дедов,
переправлявших камни через Нил,
сильны во мне: иной воды изведав,
я каплю Волги в жилах сохранил.
И русским хлебом вскормленный сыздетства,
с младых ногтей в себя его вобрав,
я принял выморочное наследство
кольцовских нив и пушкинских дубрав.*

Мысль глубокая, хотя и косноязычно изложенная, я уж промолчу о том, что “кольцовские нивы” и “пушкинские дубравы” Штейнберг называет “выморочным наследством”... Слуцкий, конечно же, владел русским языком гораздо с большей естественностью, нежели Штейнберг. И чувствуя это, он от стихотворения к стихотворению искал выход из своего двусмысленного положения:

*На русскую землю права мои невелики,
но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
И каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
всё роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождём золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу...*

Земля или небо? Небо или земля? Какая стихия даёт нам право называться русским, немцем, евреем? А что, если Лермонтов ближе к сути, нежели Слуцкий, когда он пишет о “тучках небесных”, о “вечных странниках”: “вечно холодные, вечно свободные, // нет у вас родины, нет вам изгнания?” А что, если правота Анны Ахматовой – глубже и сильнее чувств Слуцкого, когда она вспоминает в стихотворении “Родная земля” именно о земле, но не о небе:

*Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно — своею.*

Конкурентная борьба неба и земли за человеческую душу родилась в доисторические эпохи, когда древние семитские племена осознали, что в окружении множества безбожных или многобожных народов не будет у евреев возможности навечно оставаться на какой-то одной земле, что придётся им сегодня рыдать на реках вавилонских, а в следующие века обживать Пиренейский полуостров или внедряться в земли, населённые германскими, польскими и прочими варварами... А небо – оно везде одно и принадлежит безо всяких границ всему человечеству. Это почувствовал и понял знаменитый еврейский художник из Витебска Марк Шагал, создавший живописную серию “людей воздуха”, о чём Андрей Вознесенский написал стихотворение “Васильки Шагала”, принесшее ему славу в еврейских кругах не меньшую, нежели та, которую получил Евтушенко за свой “Бабий Яр”:

*В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек...
.....
Ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
небом единым жив человек.*

Марк Захарович послушал своего молодого друга и разрисовал израильский кнессет ярко-синим цветом, каким сверкает шестиконечная звезда Давида.

Из песни слова не выкинешь: Слуцкий, переживший во время Холокоста гибель многих своих родных, несмотря на “жажду обрусения”, не мог стереть эти страшные страницы из своей памяти:

“Черта за чертою. Пропала оседлость: шальное богатство, весёлая бедность. Пропало. Откочевало туда, где призрачно счастье, фантомна беда. Он вылетел в трубы освенцимских топок... Мир скатерти белой в субботу и стопок”, “Теперь Освенцим часто снится мне: дорога между станцией и лагерем”, “Я не нашёл ни тёти и ни дяди, не повидал двоюродных сестёр, но помню, твёрдо помню до сих пор, как их соседи, в землю глядя, мне тихо говорили “сожжены”... У него есть стихи о том, “как убивали мою бабу”, у него есть стихи о “берёзке в Освенциме”: “Берёзка у освенцимской стены! Ты столько раз в мои вращалась сны. Случись, когда придётся надо мною...”, у него есть стихи о том, что с псевдонимами можно смириться, но от “отчества” отказываться нельзя... У него есть стихи о том, что “еврейским хилым детям, учёным и очкастым, отличным шахматистам, посредственным гимнастам” надо заниматься “боксом”, “по травмам бегать босым”, “почаще лезьте в драки”... Почему? Да потому, что “ведь он ещё не кончился, двадцатый страшный век”...

Но одновременно он с горечью понимает, что это невозможно. Что из молодых поэтов, когда-то входивших вместе с ним в русскую литературу, что вышло? А вот что:

*Стали старыми евреями
все поэты молодые,
свои чувства поразвезали,
свои мысли охладили.
Кто бродил Путиами Млечными,
верен был Прекрасной Даме,
стали все недолговечными,
а не вечными жидами.
И акцент проснулся, Господи,
и пробилась, Боже, пейсы...*

Умный, расчётливый и осторожный Межиров бежал от такой жёстоковости Слуцкого, как чёрт от ладана, и, размышляя о русско-еврейском противостоянии, всячески успокаивал себя: **“Две крови, слившись воедино, // текут сквозь время напролом”**. Недаром он же, прочитав евтушенковское стихотворение “Бабий Яр”, со страхом забормотал: **“Спрячьте, Женя, это стихотворение и никогда никому его не показывайте!”** Одним словом, Александр Петрович понимал, что нельзя “будить лихо, пока оно тихо”. Слуцкий же шёл “напролом”, желая переродиться в русского во что бы то ни стало. Он слишком хорошо чувствовал и понимал, что наступила эпоха Освенцима, которая жёстко спрашивает каждого его единокровного соплеменника: **“Ты еврейский или русский?”** Но одновременно с этими страстями-мордастями Слуцкий, как за последнюю соломинку, держался за отчество:

*...И отчество, однако,
Я, как отчество, не выдам, не отдам.*

Стихи так и называются “Отечество и отчество”, не зря же мы звали его “Абрамыч”. Но самый большой счёт своему народу был предъявлен Борисом Абрамовичем в стихотворении “Ваша нация”:

*Стало быть, получается вот как:
слишком часто мелькаете в сводках
новостей,
слишком долгих рыданий
алчут перечни ваших страданий.*

*Надоели эмоции нации
вашей,
как и её махинации.*

*Средствам массовой информации,
Надоели им ваши сенсации.*

*Объясняют детишкам мамыши,
защищают теперь аспиранты
что угодно, но только не ваши
беды,
только не ваши таланты.*

*Угол вам бы, чтоб там отсидеться,
щель бы, чтобы забиться надёжно!
Страшной сказкой
грядущему детству
вы ещё пригодитесь, возможно.*

Обратим внимание на то, что поэт дал стихотворению заголовок “Ваша нация”. Не “наша”. И даже не “моя”, как будто он уже перевоплотился в русско-славянскую стихию, избавившись от власти над собой “этой проклятой расы”. Я представляю, как возмутился бы Слуцкий, если бы подобное стихотворение о евреях написал поэт из кожиновского окружения или употребил бы словосочетание “проклятая раса”. Позволить такой “антисемитский” выпад Слуцкий мог только себе. Перечитываю это стихотворение и думаю, что Слуцкий, сам того не подозревая, поднялся в нём до высот, которые встречаются в ветхозаветных обличениях своего грешного народа у древнееврейских пророков Ионы, Исаяи, Иеремии. И, как будто понимая, что этот духовный взлёт опирается не на русскую землю и направлен не в русское небо, он ставит на своём пути к “обрусению” последнюю трагическую точку:

*Созреваю или старею —
Прозреваю в себя еврея.
Я-то думал, что я пробился.
Я-то думал, что я прорвался...
Не пробился я, а разбился,
не прорвался я, а сорвался.
Я, шагнувший ногой одною
то ли в подданство,
то ли в гражданство,
возвращаюсь в безродье родное,
возвращаюсь из точки в пространство.*

“Родное безродье” – страшнее не скажешь. . .

В послесловии к книге “Свет двуединый” Вадим Кожин пишет: “Можно с большим основанием утверждать, что русско-православный менталитет почти полностью вытеснил еврейскую стихию в творчестве Пастернака (он, как известно, был сторонник безоговорочной “ассимиляции” евреев), однако это скорее исключение, чем правило”. Литературная судьба Слуцкого была более трагична, нежели судьба Пастернака. Слуцкий сам по своей воле порвал с еврейской стихией и не породнился в той степени, о какой мечтал, со стихией русской. Ему оставалось написать стихотворение-завещание:

*Я вникать в астрономию не собираюсь,
но, родившийся здесь, умереть собираюсь
здесь, не где-нибудь, здесь, и не там — только Здесь!
Потому что я здешний и тутошний весь.*

Может быть, это было ответом Слуцкого его соплеменникам – Межирову, Коржавину, Галичу, Бродскому, Маркишу, Самойлову... Всех не перечислить. Да и не надо. Потому что этими словами Слуцкий подтвердил пушкинский завет о любви “к родному пепелищу” и “к отеческим гробам”.

У либеральных “шестидесятников” минувшей эпохи при всём пиетете, с которым они относились к Слуцкому, был и некий нравственный счёт к нему. Счёт чрезвычайно серьёзный. Эта так называемая “общественность” не могла ему простить то, что Борис Слуцкий на специально созванном собрании писателей не защитил имя Бориса Пастернака, чей роман “Доктор Живаго” был удостоен Нобелевской премии, и не промолчал, а выступил и осудил автора с государственно-партийных позиций. По словам Евтушенко, Борис Слуцкий, “человек этически безупречный”, допустил в жизни **“одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его”**: он осудил Пастернака за публикацию на Западе романа “Доктор Живаго”. Думаю, что Евтушенко недооценивал цельности и твёрдости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы даже в конце пятидесятых годов. С их высоты он осуждал не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, моральный ущерб социалистическому Отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил по законам военного времени суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре.

“Я судил людей и знаю точно, // что судить людей совсем не сложно”, “В тылу стучал машинкой трибунал”, “Кто я – дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу его ходить по свету я? Или переправлю под прицел...”, “За три факта, за три анекдота // вынут пулемётчика из дота, // вытащат, рассудят и засудят”... и т. д.

Вот какие душевные перегрузки мучили поэта всю жизнь, а не “одна-единственная ошибка” – осуждение Пастернака.

*Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождём, а массой...*

От таких воспоминаний о своей работе “особиста” и “прокурора” вполне можно было заболеть душевной болезнью...

Но наши либералы-“шестидесятники” после того, как Слуцкий попал в психиатрическую клинику, распустили слух, что болезнь произошла от постоянных угрызений совести, которые стали после истории с Пастернаком преследовать поэта. Но я сам не раз навещал Бориса Абрамовича в больничных палатах, разговаривал с врачами, и никто из них не соглашался с этим диагнозом. Более того, сам Слуцкий с печальной иронией сказал однажды Игорю Шкляревскому и мне во время нашего посещения больницы, что шведы своим присуждением “Нобелевки” Пастернаку *“отомстили России за своё поражение под Полтавой”*.

Да смешно даже предположить, что Абрамыч – советский человек, политработник, гражданин великой страны, патриот своего Отечества, раненный на Великой войне, награждённый несколькими орденами, мог до такой степени переживать историю с “Доктором Живаго”, изданным на деньги ЦРУ в Италии... Конечно, он был обязан как человек долга осудить эту литературно-политическую провокацию, и он это сделал...

Куда серьёзней было то, что у него, поздно женившегося, в это время умерла от рака жена Татьяна, которую он обожал и для которой делал всё возможное и невозможное, чтобы спасти её, – искал врачей, доставал зарубежные лекарства, устраивал её в лучшие клиники... Смерть жены стала для него куда более тяжким потрясением, нежели провокация с Пастернаком. Но кроме этих двух бед, была ещё одна причина, которая, по моему убеждению, также могла усугублять его душевное состояние на протяжении многих лет. Дело в том, что Борис Абрамович, конечно, знал о том, что в начале 20-х годов, когда он малым ребёнком ещё жил в Славянске, значительная часть его родни по отцу эмигрировала в Палестину строить национальное еврейское государство. Но никогда в разговорах с нами Слуцкий ни с кем из нас, почитавших его, не делился мыслями об этих семейных тайнах. И в воспоминаниях

о них промолчал, и в стихах ни разу не проговорился. Зато он трогательно вспоминал о своём дедушке – учителе русского языка, бабушке Циле, родившей четырнадцать детей, о своих тётюшках и дядюшках, двоюродных сёстрах, сожжённых гитлеровцами в харьковском гетто. А как душевны его стихотворные воспоминания о жизни за чертой оседлости, о жизни, улетевшей “в трубы освендимских топков”, о селёдочке, которая с праздничного стола “уплыла в Лету”. И это несмотря на реплику, которую он обронил в споре с Кожинным: “Обратно в гетто вы нас не загоните!”

Обо всей своей родне вспоминал Борис Абрамович, кроме той, что в 1921 году отправилась в Палестину строить еврейское государство. Там, на этой земле обетованной, появился на свет двоюродный брат Слуцкого Меир Хаимович Амид, ставший в Израиле исторической фигурой, кем можно было гордиться роду Слуцких. Да, советский Слуцкий как победитель в Отечественной войне в звании капитана Советской армии строил социалистическую государственность в странах Восточной Европы, но биография его кузена была куда более впечатляющей. В юности он работал в кибуце, то есть в израильском колхозе. Двадцатилетним вступил в ряды военной организации Хагана, жестоко расправлявшейся с арабами, не желавшими уходить из своих деревень. Потом служил в полиции, а в 1947 году во время шестидневной войны с арабами командовал батальоном. В 1950 году он возглавил бригаду, оккупировавшую Сирийские Голанские высоты. В 1951-м стал приближённым Моше Даяна, после чего премьер-министр Израиля Бен Гурион назначил Амиду начальником военной разведки, а вскоре он стал директором знаменитой секретной службы Моссад... Своё политическое образование Амид Меир Слуцкий завершил в Колумбийском университете США, где обучались антисоветчине два наших ренегата – архитектор перестройки Александр Яковлев и директор ФСБ Олег Калугин...

Блистательная карьера была у кузена Слуцкого, и его советский собрат, зная это, молчал о своём брате, как молчал о своей тётюшке Розалии Залкинд-Землячке, не желая обнаруживать родство с ней, другой советский поэт-фронтовик – Александр Петрович Межиров.

Борис Слуцкий не хотел вспоминать ни о брате, ни о еврейском государстве. Он хотел быть именно советским евреем, не местечковым, не произраильским, не космополитическим, а именно советским. Если говорить точнее, русско-советским. Но наблюдая за ходом истории, внимательно вглядываясь в лица и души своих соплеменников, он приходил в 70–80-е годы к неизбежному выводу, что советское еврейство изживает себя и становится антисоветским. Это превращение “Павла в Савла”, видимо, терзало его душу куда сильнее, нежели пресловутая история с осуждением Пастернака.

“Когда после войны, – пишет биограф Слуцкого И. Фаликов, – в Москву с Ближнего Востока приехал кто-то из родственников и захотел увидеться со Слуцким, тот от встречи отказался”. И Фаликов объясняет, почему: **“Борис был вряд ли осведомлён, тем более в подробностях, о деятельности кузена”.** От встречи с кем-то из безымянных израильских родственников Слуцкий отказался встретиться, видимо, зная, кто они, а о “деятельности” знаменитого “кузена” вообще был “не осведомлён”? Невозможно в этом поверить.

Мало того. **“Через шесть лет после собрания по Пастернаку мать кузена Слуцкого Меира приезжала в Советский Союз и виделась с Абрамом Наумовичем Слуцким (отцом Б. Слуцкого. – Ст. К.). Вряд ли она не доложила родственнику о подвигах своего сына”** (из книги И. Фаликова).

Но я прекрасно помню, что Борис Слуцкий, как никто из поэтической братии, был привязан ко времени, в котором мы жили, к событиям, которые вершились на наших глазах и в Советском Союзе, и во всём мире. А поскольку мы переводили стихи многих поэтов из национальных республик, то вместе с ним я побывал и в Литве, и в Киргизии, и в Армении, и времени в этих поездках поговорить обо всём – и о нашей внутренней жизни, и о “холодной” войне – у нас было достаточно. Но я не помню, чтобы хоть раз мы обсуждали с Борисом Абрамовичем, как живёт самое молодое государство земного шара, именуемое Израилем, где обитала его многочисленная родня. Не может быть, чтобы наш Слуцкий не знал, как возник и как укреплялся Израиль на палестинских землях, как Менахем Бегин со своими голворезами стёр с лица земли деревню Деир Ясин со всем её палестинским народом, за что Эйнштейн назвал Бегина фашистом. Не может быть, чтобы

наш Слуцкий не знал о резне, организованной в лагерях Сабра и Шатила Ариэлем Шароном. Не может быть, чтобы ко всем подобного рода преступлениям не был причастен его кузен, дослужившийся до таких высот в своей карьере. Поэтому он молчал о своей израильской родне, о выдающемся сыне еврейского народа Амиде Слуцком, обо всех отношениях, которые с 1947-го и до начала перестройки складывались между Советским Союзом и чуждой ему страной Израиль.

Конечно, он знал, что Израиль был создан по воле Сталина, благодаря голосам в ООН всех народно-демократических государств Восточной Европы. Конечно, он знал, что портреты Сталина висят в благодарности ему во всех израильских кибуцах.

Конечно, он знал, что шестидневную войну, во время которой решалось, быть или не быть Израилю, выиграли советские командиры и солдаты еврейского происхождения, победители фашизма, которых Сталин отправил на Ближний Восток спасать Израиль от арабского Голиафа.

Конечно же, он знал, что проамериканская израильская верхушка разорвала связи с СССР, потому, что истерзанный четырёхлетней войной с рейхом Советский Союз, в отличие от обогатившейся на войне Америки, был не в силах помочь Израилю стать полноценным государством.

Конечно, он знал, что Израилю понадобятся людские резервы и что большая часть советских евреев осуществит исход из страны, которая спасла их от Холокоста, на историческую родину.

Конечно, он знал, что этот предательский исход аукнется еврейству и “делом врачей”, и гибелью антифашистского комитета, и разрывом дипломатических отношений со сталинской державой, и резолюцией ООН о том, что “сионизм есть форма расизма”, но он молчал, понимая, что со всеми этими событиями так или иначе связана судьба всей его израильской родни.

Конечно, он как известный и влиятельный поэт побывал после войны во многих странах – во Франции, в Чехословакии, в Польше, в Болгарии, в Румынии, в Швейцарии, в Италии, конечно, оформляя эти поездки, он заполнял нужные анкеты. Конечно, он знал, что в таких анкетах существует графа: *“Есть ли у Вас родственники за границей”*. Я не знаю, как он отвечал на этот вопрос, но думаю, что каждый раз, заполняя злополучную графу, он как человек чести и долга признавался советскому государству, что, к сожалению, живёт за границей его родня, о которой ему не хотелось бы вспоминать, и, конечно, это обстоятельство подпитывало его душевную болезнь. Евтушенко в предисловии к книге Слуцкого писал: *“Да, я убеждён: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени...”*

Я ценил и до сих пор ценю многие стихи Слуцкого. Всегда уважал его прямоту, верность слову, долгу, присяге. Но никогда не считал его великим поэтом, ибо великий поэт всегда выше, глубже, значительнее своего времени. А Слуцкий был во времени весь со всем своим честным догматизмом, ленинизмом, максимализмом, комиссарством и даже своеобразным сталинизмом. *“Великий поэт – это воплощение своей эпохи”*, – пишет Евтушенко. А разве Багрицкий (кстати, один из любимых поэтов Слуцкого) не выразил, как никто, кроважидную идеологию классовой борьбы этой эпохи? Разве его формулы *“Но если век скажет: “Солги!” – солги! Но если век скажет: “Убей!” – убей!”* не были написаны на знаменах времени? Но можно ли такого поэта, абсолютно соответствующего главному пафосу времени, назвать великим?

Великим поэтом эпохи, скорее всего, можно назвать Сергея Есенина, сказавшего: **“Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам”**, или даже Осипа Мандельштама с его горестным признанием: **“Мне на плечи бросается век-волкодав, // но не волк я по крови своей”**. А Борис Слуцкий не выходил за пределы своего времени и соглашался с ним во всём: **“Кто тут крайний? Кто тут последний – я желаю стоять, как все”**.

Слуцкий действительно был всего лишь поэтом своей эпохи. Он и книги свои, как бы подчёркивая временность их существования, называл демонстративно: “Время”, “Сегодня и вчера”, “Современные истории”, “Продлённый полдень”, “Годовая стрелка”, “Сроки”...

Он мужественно и самонадеянно принимал на себя как гражданин и честный “винтик времени” ответственность за все деяния государства:

*Государство должно государить,
государство должно есть и пить,
и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.*

*Понимаю, вхожу в положение,
и хотя я трижды не прав,
но как личное поражение
принимаю списки расправ.*

У него хватало мужества нести ответственность за все деяния истории, которые вершились при нём, признавшемся: “всем лозунгам я верил до конца” — и постоянно повторявшем:

*Мы кашу верно заварили,
а ежели она крута,
что ж! Мы в свои садились сани,
билеты покупали сами
и сами выбрали места.*

* * *

Раздвоенность мировоззрения Слуцкого была абсолютно тупиковой и безвыходной. С одной стороны, типичный ифлиец, фанатик мировой революции, верный солдат и политрук марксистско-ленинской тоталитарной системы, для которого высший гуманизм и высшая справедливость заключалась в словах и музыке “Интернационала” — “привокзальный Ленин мне снится”, “я вычитал у Энгельса, я разузнал у Маркса”, “приучился я к терпкому вкусу правды, вычитанной из газет”, “себя считал коммунистом и буду считать”, “как правильно глаголем Маркс и я”...

А с другой — трогательные, человечные, полные сдержанной, аскетической любви к маленькому человеку стихи: “Старухи без стариков”, “Расстреливали Ваньку взводного”, “Сын негодяя”, “Последнею усталостью устав”, стихи о пленном немце, которого расстреливают перед тем как отступить — “мне всех не жалко — одного лишь жалко, который на гармошке вальс крутил...” Он был честный поэт и от соблазна человечности, от сочувствия человеку-винтику жесткой эпохи уйти не мог, и этот ручеек человечности у Слуцкого упорно пробивался из-под железобетонных блоков его коммунистическо-интернациональных убеждений...

Евтушенко чересчур упрощал Слуцкого, считая его последовательным антисталинистом. Да, с годами он всё дальше уходил от преклонения перед Сталиным, но отход был мучительным. Никогда Слуцкий не позволял себе фельетонности, кощунства, мелкотравчатости, прикасаясь к этой трагедии. “Гигант и герой”, “Как будем жить без Сталина”, “Бог ехал в пяти машинах”, “Он глянул жестоко-мудро своим всевидящим оком, всепроникающим взглядом”, “А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, поднимался рано. Любил его...”

Да, такие, как Слуцкий, любили Сталина. В их атеистической душе он занимал место Бога, так как свято место пусто не бывает. У Слуцкого как у поэта был именно не политический, но государственный, а поистине религиозный культ этой земной фигуры. Даже через много лет после 1956 года в стихах о Зое Космодемьянской, умершей с именем Сталина на виселице (стихи не включены Евгением Евтушенко в сборник!), Слуцкий писал:

*О Сталине я думал всяко разное,
ещё не скоро подобью итог
Но это слово, от страданья красное,
за ним я утаить его не мог.*

(разрядка моя. — Ст. К.).

Конечно, Слуцкий понимал правовую ущербность сталинского социализма, но понимал его не как анекдот, а как историческую необходимость.

*Я шёл всё дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
всё, что воздвигнул Сталин:
высотных зданий башни,
квадраты площадей...
Социализм был выстроен.
Поселим в нём людей.*

И словно бы подчиняясь этому приказу о заселении “казённого сталинского социализма” людьми, Слуцкий в своих книгах приветствует и благословляет простонародье, очеловечившее деяния своих рук: “**Дети в Доме отдыха**”, “**Я строился, как новая Москва**”, “**Спи, товарищ! Отдыхай, сосед, ты сегодня честно потрудился**”, “**Были созданы все условия, то есть крыша, хлеб и вода**”... “**Я рос в тени завода**”, “**Двадцать лет я жил всухомятку в общежитиях и на войне и привык к большому порядку, он понравился даже мне**”, “**Стоит хозяин и кормилец, на дело рук своих глядит**”... Оглядывая всё это наполненное людьми, застроенное их руками безлюдье социализма, поэт вступает в спор с самим собой, восклицая: “Не винниками были мы, мы были электронами”. Но бывало, что и он впадал в отчаянье. Я тоже во многом сын той же эпохи, но моя жизнь не целиком принадлежит ей, и у моего поколения был шанс понять свободу шире, нежели только как “осознанную необходимость”. У поколения же Слуцкого таких шансов почти не было.

*Давайте денег бедным,
несите хлеб несатым,
а дружбу и любезность
куда-нибудь несите,
где весело и сытно,
где трижды в день еда,
несите ваши чувства
куда-нибудь туда.*

.....
*Брезентовые туфли
стесняют шаг искусства,
на коммунальной кухне
не расцветают чувства...*

Видимо, действительно многое изменилось в людском сознании со времён Самсона Вырина и Макара Девушкина, если поэт, знающий Пушкина и Достоевского, утверждает: “на коммунальной кухне не расцветают чувства”. Какое материалистическое заблуждение, забывающее о том, что “Троицу” Рублёв написал в эпоху разорения Руси! А если вспомнить скитания Аввакума, нищего бездомного Есенина, обездоленную в 30-е годы Ахматову, изгоев Клюева и Павла Васильева или Ярослава Смелякова! Всю свою историю русская литература только и занималась тем, чтобы выяснить, почему и как “**расцветают чувства**” вроде бы в совершенно неподходящих условиях — в меблирашках и в душных департаментах Петербурга, в острогах Сибири, в крепостных деревнях, в замоскворецких ночлежках... И даже в бараках ГУЛага. А тут всего-то-навсего — коммунальная кухня, не так уж и страшно...

* * *

Да, он любил людей, но не христианской, а прагматической любовью строителя, который заботился о согражданах, нужных для осуществления общего дела. А о других, выломившихся из жизни, писал с каким-то отстранён-

ным сочувствием, как будто провожая их из жизни, как бы понимая, что они — отработанный шлак, и всё равно им не поможешь, и не лучше ли оставить энергию сердца для единомышленников, для фронтовых друзей, для рядовых строителей социализма... Он как бы, говоря о неудачниках истории, по его собственным словам, “экономил жалость”: “Мне не хватало широты души, чтоб всех жалеть, я экономил жалость”...

На такие размышления меня натолкнуло стихотворение о судьбе обречённых белых офицеров в 30-е годы, которое заканчивалось в такой моральной тональности: **“с обязательной тенью гибели на лице, с постоянной памятью о скороспелом конце...”**, **“старые офицеры старые сапоги осторожно донашивали, но доносить не успели, слушали ночами, как приближались шаги, и зубами скрипели, и терпели, терпели”**. Возможно, что в их судьбах он прозревал и свою собственную трагедию.

* * *

В давние времена, даже тогда, когда Слуцкий, прочитав рукопись первой моей книги, предложил себя в редакторы, словом, в дни самых лучших наших отношений со многими его идеями и оценками я не был согласен, о чём говорил ему открыто в глаза. Помню его утверждение о том, что **“одни великие поэты (по мысли Энгельса!) выражают “разум нации”, а другие — ее “предрассудки”**. Далее он продолжал, что Сергей Есенин, согласно этой марксистской точке зрения, выражал именно **“предрассудки русской нации”**. Я смеялся и прямо говорил ему: **“Борис Абрамович, да вы Есенина просто не понимаете!”** Слуцкий топорщил усы, фыркал, ворчал. Помню, как на мой вопрос, читал ли он замечательных русских философов Константина Леонтьева и Василия Розанова, Слуцкий отрезал: **“Я русских фашистов не читаю и вам не советую”**. Жаль, что в это время он не вспомнил о своём кузене...

* * *

Много было написано в нашей критике о демократизме Слуцкого. Эренбург сравнивал его демократизм с некрасовской народностью. Евтушенко не соглашается с Эренбургом. Он считает, что в поэзии Слуцкого нет ничего крестьянского (и это правда), и говорит о **“фронтовом демократизме”**. Но я думаю, что демократизм Слуцкого времён войны — это всё-таки особая демократичность политрука, комиссара, руководителя, уверенного в том, что всё, что делается им, идёт на благо народа, не всегда понимающего, в чём его собственное благо.

“Я говорил от имени России, её уполномочен правотой”, “Я был политработником”, “И я напоминаю им про Родину”, “И тогда политрук, впрочем, что же я вам говорю, стих — хватает наган, бьёт слова рукояткой по головам, сапогами бьёт по ногам...” (поднимая в атаку).

Сказано честно и наивно. Но я много раз встречался с крестьянскими сыновьями — поэтами Виктором Кочетковым, Фёдором Суховым, Сергеем Викуловым, Сергеем Орловым. Они многое рассказали мне о своей фронтовой жизни. Долгими вечерами я слушал в зимовье на берегу Нижней Тунгуски воспоминания о войне ербогачёнского охотника Романа Фаркова и давным-давно понял, что никакой политрук, никакой смершевец не мог научить их приказному патриотизму... Они и без политруков знали, что такое немцы и как им надо защищать от этих суперменшей своих отцов и матерей, жён и детей, своё поле, свою Волгу, свою деревню.

* * *

*Маловато я думал о Боге,
видно, так и разминемся с Ним...*

От безверия неизбежен путь в понятный по-человечески, но безвыходный пессимизм, столь гибельный для людей несгибаемой породы, к которой принадлежал Слуцкий. Ему было достаточно того, что называется “правами человека”.

“Кончилось твоё кино, песенка отпета. Абсолютно всё равно, как опишут это”, “Зарасти, как тропа, затеряться в толпе – вот и всё, что советовать можно тебе”, “Мировое тру-ля-ля торжествует над всемирной бездной”.

В предчувствии крушения идеи социалистического интернационализма (о мировой революции чего уж говорить!) для Слуцкого История становится бессмысленной и теряет, прекращает разумное “течение своё”: *“Горлопанили горлопаны, голосили свои лозунга, а потом куда-то пропали, словно их замела пурга...”* – и сменили их *“горлопаны новейшей эры”*. Исторические деяния в итоге *“сактированы и сожжены дотла”*; *“Размол кладбища”*; *“Смывка киноплёнки”*; *“Селёdochка в Лету давно уплыла”*. В море атеистического отчаянья тонет муза Бориса Слуцкого последних лет его жизни. А поскольку для него и вскрытие святых мощей было вскрытием “нуля”, как то доказывал главный палач Православия Емельян Ярославский, то атеистический пафос жизнестроительства Слуцкого, когда иссякла сила, влился в море беспросветного скепсиса, где на берегу моря, как пародия на вечность, стоит пресловутая банька с пауками из воспалённых снов богоборца Ивана Карамазова. И мысли о будущем человечества стали пошлыми, плоскими и неутешительными:

*Наедятся от пуза, завалятся спать на столетье,
на два века, на тысячелетье.
Общим храпом закончится то лихолетье,
что донныне историей принято звать.*

Как всё это не похоже на молодое предвоенное кипенье, на *“это есть наш последний...”!* К атеистическому скепсису сделан громадный шаг, а к Новому Завету, к Вере, к Христианству ни на волосок не сдвинулась душа Слуцкого, в отличие от души Пастернака, Заболоцкого или Ахматовой. Даже умирающий Пушкин у него живёт в углу, где ни одной иконы, – *“лишь один Аполлон”*. А потому и приходит состояние внутреннего опустошения:

*Нету надежд внутри жизни, внутри
века, внутри настоящего времени.
Сможешь — засни, заморозься, замри
способом зёрнышка, малого семени.*

Быстрое осознание того, что вся жизнь положена на алтарь *безнадёжно-го дела*, всё чаще и чаще навещало его, разъедая оболочку убеждений, казало бы, скроенных из нержавеющей стали. Нержавейка (как на скульптуре Мухиной) расплзлась, и из трещин её время от времени слышались глухие признания: *“Я строю на песке”, “Сегодня я ничему не верю”, “Но верен я строительной программе”*... Самое страшное заключалось в том, что драма была не духовной, а идеологической. Конструкции его внутреннего мира, скроенные из атеистического материализма, настолько окостенели, что когда поэт понял, что идея социальной справедливости неосуществима, то у него, в сущности, остались только два пути для исхода: смерть или помутнение рассудка... Судьба предназначила ему второе, пощадив, как Ивана Бездомного...

* * *

Слуцкий был фанатичным прагматиком, уверенным в том, что важна лишь история, творящаяся сегодня, при его жизни, что всё, что *было и былём* пошло, уже не влияет на сегодняшнюю *“злбу или доброту дня”*.

Бериевская амнистия – да, это живое время, 1956 год, XX съезд КПСС; то же послевоенное перенапряжение сил – его эпоха, четыре года войны – главное в жизни, а всё остальное уже как бы на том берегу Леты, уже отрезано навсегда, уже не будет ни сил, ни желания ворошить и пересматривать эти геологические пласты.

*А всё довоенное является ныне
доисторическим,
плюсquamперфектным, забытым и,
словно Филонов в Русском
музее, забытым в какие-то ящички...*

Стихи, полные усталости и исторического пессимизма, в который переродился пафос социалистического строительства.

Но после его смерти история зашевелилась, словно бы спрыснутая живой водой. Ожило время с красным и белым террором, с геноцидом казачества, с жестокостью местечковых “комиссаров в пыльных шлемах”, с расстрелом царской семьи и Соловками, с Беломорканалом, с мемуарами изгнанников первой русской эмиграции. История кричит, митингует, жестикулирует, бушует в душе сегодняшнего человека. Слуцкий не смог вынести этого хаоса. В годы болезни они иногда звонил мне по телефону и спрашивал, что творится в мире. Потом молчал в трубку, потом наш разговор прекращался. Бедный Борис Абрамович... Он понимал или чувствовал, что я навсегда ухожу из сферы его притяжения. И не осуждал меня за это. Более того, когда я навестил его в психиатрической лечебнице незадолго до смерти, он, прощаясь со мной, неожиданно сказал:

— Вы, Станислав, из умнейших людей своего поколения.

На мой вопросительный взгляд, почему он так думает, Слуцкий не ответил, лёг на больничную постель и закрыл глаза.

* * *

Когда пришёл час прощаться с ним, к гробу пришли люди противоположных, можно сказать, враждующих убеждений и мировоззрений: Вадим Кожинов и Владимир Огнев, Анатолий Передреев и Давид Самойлов, Александр Межиров и Станислав Куняев.

Потому-то над его гробом, прощаясь с ним, я сказал приблизительно следующее:

“Чем был дорог нам Борис Абрамович Слуцкий? Тем, что он был крупным талантом в нашей поэзии, тем, что он был человеком чести и слова, дорог своей прямоотой и своей заботливостью о тех, кто был рядом с ним, своим аскетизмом и, что, может быть, нужнее всего сегодня для каждого из нас, — своим бесстрашием перед жизнью и её роковыми вопросами. С убеждённой истинного поэта он ставил перед собой неразрешимые задачи — социальные, государственные, культурные, национальные. А для разрешения их у него был лишь один нежнейший инструмент — слово человеческое... И сколько в результате этой драматической борьбы, происходившей в его душе, он оставил нам замечательных стихотворений.

*Старух было много, стариков было мало,
то, что гнуло старух, — стариков ломало,
старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм — дорогой, суконный,
покупали гроб — дорогой, дубовый,
и глядели в последний, как лежит
их законный,
прижимая лацкан рукой пудовой...*

Какая тяжелая музыка (вот он, настоящий металлический рок, тяжёлый металл!) звучит в этом музыкальном ритме, казалось бы, самого немusicalного поэта своего поколения Бориса Слуцкого!

Уходит, вернее, уже ушла эпоха, певцом, мучеником, подвижником и строителем которой он был. Попрощаемся с этой эпохой. Попрощаемся со Слуцким”.

И всё, что я сегодня пишу о нём, — это и есть последнее прощанье с ним. И разрыв, и благодарность, и признание, и забвенье. Всё одновременно.

Осталась одна забота – проститься по-христиански. А последнее слово пусть всё-таки останется за ним:

*А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и вместе с ней сплыву неумело и смело.
Пусть меня крошкой смахнут вместе с ней со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут наподобие мела...*

И жалко, и закономерно, что он не смог своими словами повторить знаменитое: “Нет, весь я не умру...” или хотя бы нечто похожее на есенинское: “Отдам всю душу Октябрю и Маю, но только лиры милой не отдам”, или совсем недавнее: “Другие по живому следу пройдут весь путь за пядью пядь, но пораженья от победы ты сам не должен отличать”...

(Продолжение следует)